



Л Е О

П Е Р У Ц

*МАСТЕР
СТРАШНОГО СУДА*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Лео Перуц

Мастер Страшного суда

«Издательство АСТ»

1923

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

Перуц Л.

Мастер Страшного суда / Л. Перуц — «Издательство АСТ»,
1923 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-147296-2

«Мастер Страшного суда» – самый известный роман Лео Перуца. Это изысканное сочетание увлекательного интеллектуального детектива о расследовании таинственной серии самоубийств «без причины», потрясающих Вену начала XX столетия, и причудливой фантасмагории, полной мистических аллюзий, символов и мельчайших «подсказок», помогающих читателю понять скрытый смысл происходящего...

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-17-147296-2

© Перуц Л., 1923

© Издательство АСТ, 1923

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	12
Глава 4	15
Глава 5	19
Глава 6	23
Глава 7	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Лео Перуц

Мастер Страшного суда

Leo Perutz

DER MEISTER DES JUNGSTEN TAGES

© Paul Zsolnay Verlag, Wien, 1959, 1994

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

Глава 1

(Предисловие вместо послесловия)

Моя работа закончена. Я письменно изложил события осени 1909 года, тот ряд трагических обстоятельств, с которым я оказался связан столь странным образом. Все, что я написал, – правда от первого до последнего слова. Ни о чем я не промолчал, ничего не приукрасил – да и к чему? У меня нет повода что-либо скрывать.

Записывая эти происшествия, я обнаружил, что в памяти моей живо и ясно сохранилось бесконечное число подробностей, отчасти довольно незначительных: беседы, мысли, мелкие инциденты, но что при этом у меня составилось совершенно неправильное представление о времени, в течение которого все это разыгралось. Еще и теперь у меня такое впечатление, будто это длилось несколько недель. Но это ошибка. Я знаю точно, в какой день доктор Горский повез меня играть квартет на виллу Бишоф. Это было в воскресенье 26 сентября 1909 года; вся панорама этого дня еще и теперь стоит у меня перед глазами: с утренней почтой я получил письмо из Норвегии, постарался разобрать почтовый штамп и подумал при этом о студентке, которая была моей соседкой за столом при плавании по Ставангерскому фиорду. Она ведь обещала мне написать. Я распечатал письмо, но в нем оказался проспект одного отеля у Гардангского глетчера. Разочарование. Позже я отправился в фехтовальный клуб, но тут, на улице Флориани, меня застиг ливень, я вошел в ворота какого-то дома и увидел старый запущенный сад с каменным фонтаном барокко; старая дама заговорила со мною и спросила, не живет ли в этом доме модистка по фамилии Крейцер. Помню все, словно это было вчера. Потом распогодилось, 26 сентября 1909 года осталось у меня в памяти как теплый день с безоблачным небом.

Днем я обедал с двумя товарищами по полку в садовом ресторане. Утренние газеты просмотрел только после обеда. В них были статьи о балканском вопросе и о политике младотурок – пора-зительно, как это все запомнилось мне. Передовая статья обсуждала путешествие английского короля, а другая посвящена была планам турецкого султана. «Выжидательная политика Абдул-Гамида» – было напечатано жирным шрифтом в заголовке. В хронике сообщались биографические сведения о Шефкет-паше и Ниази-бее – кто ныне помнит еще эти имена? На Северо-Западном вокзале ночью был пожар – уничтожены огнем огромные лесные склады; сообщалось о готовящейся постановке «Дантона» Бюхнера; в опере шла «Гибель богов» с гастролером из Бреславля в роли Гагена; где-то, кажется в Петербурге, происходили забастовки и рабочие беспорядки; в Зальцбурге случилась в церкви кража со взломом, а телеграммы из Рима говорили о шумных сценах в парламенте. Затем я набрел на петитом набранную заметку о крахе банкирского дома Бергштейна. Она меня несколько не поразила, я предвидел этот крах и своевременно взял оттуда свои капиталы. Но невольно вспомнил об одном знакомом, об актере Ойгене Бишофе, который тоже доверил этому банку свое состояние. «Мне следовало его предупредить, – мелькнуло у меня в голове. – Но разве он поверил бы мне? Он никогда не верил в мою осведомленность. К чему вмешиваться в чужие дела?» И тут же мне припомнилась моя беседа с директором придворных театров, происходившая несколькими днями раньше. Речь зашла об Ойгене Бишофе.

– Он старится, к сожалению, ничего не поделаешь, – сказал директор и прибавил еще несколько слов о том, что надо дать место молодым силам.

Судя по моему впечатлению, у Ойгена Бишофа было мало шансов на возобновление контракта. А тут еще вдобавок эта катастрофа с Бергштейном и К^о.

Все это запомнилось мне. Так отчетливо запечатлелся в моем мозгу день 26 сентября 1909 года. Тем труднее мне понять, как мог я отнести к середине октября тот день, когда мы втроем вошли в дом на Доминиканском бастионе. Быть может, воспоминание об опав-

ших каштановых листьях на песчаных дорожках сада, о зрелом винограде, продававшемся на перекрестках, и о первых осенних заморозках – быть может, вся эта совокупность смутных воспоминаний, как-то связанных для меня с этим днем, ввела меня в такое заблуждение, в действительности же все разрешилось 30 сентября, это я установил на основании заметок, сохранившихся у меня от того времени.

С 26 по 30 сентября, стало быть, не больше пяти дней, длился весь этот трагический кошмар. Пять дней продолжалась романтическая охота, преследование незримого врага, который был не существом из плоти и крови, а страшным призраком минувших веков. Мы набрали на кровавый след и пошли по этому следу. Молча открылись ворота времени. Никто из нас не предвидел, куда ведет путь, и чувство у меня теперь такое, словно мы с трудом, шаг за шагом, ощупью пробирались по длинному темному коридору, в конце которого нас поджидало чудовище с поднятой дубиной... Дубина опустилась два раза, три раза, ее последний удар пришелся по мне, и я бы погиб, я разделил бы страшную участь Ойгена Бишофа и Сольгруба, если бы в последний миг не был внезапно выхвачен из бездны.

Сколько жертв поглотило оно, это окровавленное чудовище, на пути своем сквозь чащу столетий, сквозь времена и страны? Судьба многих людей представляется мне теперь в ином свете. На оборотной стороне переплета среди имен прежних владельцев книги я открыл одну полустертую подпись. Правильно ли я разобрал ее? Неужели Генрих фон Клейст тоже?.. Нет, бесполезно искать, и гадать, и вызывать призраки великих усопших. Туман скрывает их лики. Безмолвствует прошлое. Никогда не даст ответа мрак. И это не миновало, нет, все еще не миновало, видения поднимаются из глубин и осаждают меня ночью и среди бела дня – теперь, впрочем, хвала небесам, уже только в виде бледных, бесплотных теней. Оно спит во мне, мое страдание, но сон его все еще недостаточно глубок, и подчас меня вдруг охватывает страх и гонит к окну; мне представляется, что там, наверху, чудовищными волнами должен бушевать в небе ужасный огонь, и я не верю себе при виде солнца над моею головой, солнца, окутанного серебряной дымкой, окруженного багряными облаками или одинокого в безграничной небесной синеве, при виде извечных, вечных красок вокруг меня, красок земного мира. Ни разу после того дня не видел я больше страшного пурпура трубного гласа. Но тени все еще тут: возвращаются, обступают меня, тянутся ко мне... Исчезнут ли они когда-нибудь из моей жизни?

Быть может, это грешные души? Быть может, изложив на бумаге то, что меня угнетало, я отделался от гнета навсегда? Повесть моя лежит передо мною в виде кипы разрозненных листов; я поставил крест на ней. Какое мне отныне дело до нее? Я отодвигаю ее в сторону, словно ее кто-то другой пережил и сочинил, кто-то другой написал, не я.

Но еще другое соображение побудило меня записать все то, что я хотел забыть, но забыть не могу.

Сольгруб за несколько мгновений до своей смерти уничтожил один исписанный лист пергамента. Он это сделал, чтобы отныне никто не мог подпасть под то же странное обольщение. Но можно ли быть уверенным, что этот пергамент был единственным в своем роде экземпляром? Разве нельзя допустить, что в каком-нибудь забытом уголке мира лежит второе сообщение флорентийского органиста – выцветшее, запыленное, истлевшее, объединенное крысами, похороненное под хламом старьевщика или притаившееся за фолиантами старой библиотеки или между коврами и Коранами на чердаке лавки где-нибудь в Эрцинджане, Диарбекире или Джайпуре – что оно там лежит настороже, готовое к воскресению и жаждущее новых жертв?

Все мы – неудавшиеся произведения Великого Творца. Мы носим в себе страшного врага и этого не подозреваем. Он не шевелится в нас, он спит, лежит как мертвый. Горе тому, в ком он оживает. Да не узрит отныне ни один смертный пурпурной краски трубного гласа, которую увидел я! Да, пусть Бог мне будет защитой – я ее видел...

И поэтому рассказал я здесь мою повесть.

Я знаю, у нее, в том виде, в каком она теперь лежит передо мною, эта кipa исписанной бумаги, – у нее, в сущности, нет начала. Как она началась? Я сидел дома, за письменным столом, с пенковой трубкой в зубах и перелистывал книгу. В это время пришел доктор Горский.

Доктор Эдуард фон Горский при жизни был мало известен вне узкого круга специалистов. Только смертью заслужил он себе мировую славу. Он умер в Боснии от заразной болезни, которую избрал предметом своих специальных исследований.

Он, как живой, стоит передо мною, плохо выбритый, очень неряшливо одетый, с косо повязанным галстуком. Указательным и большим пальцами он зажал себе нос.

– Опять ваша проклятая трубка! – расшумелся он. – Неужели вы не можете жить без нее? Какой ужасный дым! Он чувствуется даже на улице.

– Это запах заграничных вокзалов, он мне нравится, – ответил я, вставая, чтобы с ним поздороваться.

– Черт бы его побрал! – проворчал он. – Где ваша скрипка? Вы будете играть у Ойгена Бишофа, мне поручено вас привезти.

Я взглянул на него в изумлении.

– Разве вы не читали сегодня газеты? – спросил я.

– Ах, вы об этом уже знаете тоже? – воскликнул он. – По-видимому, всему свету известно то, о чем только сам Ойген Бишоф не имеет никакого представления. Да, история скверная. Насколько я понимаю, ее хотят скрыть от него. Как раз теперь у него происходят неприятности с дирекцией, и, по крайней мере, покуда они не уладились, надо об этом молчать. Посмотрели бы вы, как ведет себя Дина: точно ангел-хранитель бережет она его. Едем со мною, барон! Ему, по-моему, будет сегодня полезно всякое развлечение и отвлечение.

Мне очень хотелось повидать Дину. Но я был осторожен. Я сделал вид, будто мне нужно еще предварительно подумать.

– Немного помузицируем, – убеждал меня доктор Горский. – Я захватил с собой виолончель, она в фиакре. Сыграем фортепианное трио Брамса, если хотите.

И он стал насвистывать про себя, чтобы меня соблазнить, первые такты Н-dur-ного скерцо.

Глава 2

Комната, где мы играли, расположена была в первом этаже виллы, и ее окна выходили в сад. Поднимая глаза от нот, я видел выкрашенную в зеленую краску дверь павильона, где Ойген Бишоф обычно запирался, когда ему присылали новую роль; там он ее разучивал и в иные дни часами оттуда не выходил. До позднего вечера мелькал тогда за освещенными окнами его силуэт и делал странные телодвижения, какие ему предписывала роль.

Песчаные дорожки сада были ярко освещены солнцем. Между грядками фуксий и георгин сидел на корточках глухой старик садовник и срезал траву однообразным, утомлявшим мое зрение движением правой руки. В соседнем саду шумели дети, пуская лодочки по воде и змеев по воздуху, а сидевшая на скамье в лучах предвечернего солнца пожилая дама бросала из сумочки хлебные крошки воробьям. Вдали на лугу медленно двигались по направлению к лесу гуляющие с яркими зонтиками и детскими колясками.

Мы начали музицировать в пятом часу дня, проиграли две скрипичные сонаты Бетховена и трио Шуберта. После чая приступили наконец к трио Н-dur. Я люблю это трио, особенно первую часть, полную торжественного ликования, и поэтому пришел в раздражение, когда в дверь постучали, едва лишь мы начали играть. Ойген Бишоф своим звучным голосом громко произнес: «Войдите!» – и в комнату просунулся молодой человек, лицо которого мне сразу показалось знакомым, я только не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах уже видел его. Он закрыл не без шума дверь, хотя, по-видимому, очень старался нам не помешать. Это был рослый плечистый блондин с почти четырехугольной головой, с первого же взгляда он мне не понравился, отдаленно напоминая кашалота.

Дина вскользь подняла на него глаза от клавиш, кивнула ему, к моему удовольствию, довольно небрежно, головой и продолжала играть, между тем как ее муж бесшумно поднялся с дивана, чтобы поздороваться с запоздавшим гостем. Поверх моего пюпитра я видел, как они оба беседуют, а затем кашалот вопросительно и с заметным удивлением указал на меня движением головы: «Кто это? Откуда он взялся?», – и я пришел к заключению, что он, по-видимому, интимный друг дома, если позволяет себе такие вольности.

Когда мы доиграли первую часть трио, Ойген Бишоф познакомил нас:

– Инженер Вольдемар Сольгруб, товарищ моего зятя, – барон фон Пош, любезно заменивший Феликса.

Феликс, младший брат Дины, услышал, что его упомянули, и помахал левой рукой в белой повязке. Он обжег в лаборатории руку и не мог поэтому играть на скрипке, а чтобы не сидеть без дела, перелистывал Дине ноты.

Затем показался доктор Горский из-за своей виолончели, приветливо усмехающийся гном, но инженер только мимоходом пожал ему руку и уже в следующий миг стоял перед Диной Бишоф. И между тем как он склонился над ее рукой – он держал ее в своей руке гораздо дольше, чем это требовалось, и на это было положительно тягостно смотреть, – между тем как он стоял, склонившись над ее рукой, и что-то ей настойчиво говорил, я заметил, что он совсем не так молод, каким показался мне вначале. Его белокурые, коротко стриженные волосы слегка серебрились на висках, и было ему, вероятно, лет под сорок, хотя он держался как двадцатилетний юноша.

Наконец он решил выпустить руку Дины и подошел ко мне.

– Кажется, мы с вами знакомы, господин виртуоз.

– Меня зовут барон фон Пош, – сказал я очень спокойно и очень вежливо.

Кашалот понял намек и извинился, сказав, что не расслышал, как это водится, моей фамилии, когда нас познакомили. У него была странная манера речи – он как-то выталкивал

слова изо рта и живо напомнил мне этим своего двойника, выпускающего водяную струю из ноздри.

– Но ведь вы меня помните, надеюсь? – спросил он.

– Нет, очень сожалею.

– Если не ошибаюсь, мы пять недель тому назад...

– Мне кажется, вы ошибаетесь, – сказал я, – пять недель тому назад я путешествовал...

– Совершенно верно, вы путешествовали по Норвегии. И мы на пути из Христиании в Берген четыре часа сидели друг против друга. Вспоминаете?

Он помешивает ложечкой в чашке чаю, которую поставила перед ним Дина. Его последние слова она расслышала и говорит, с любопытством глядя на нас обоих:

– Ах, так вы уже раньше были знакомы?

Кашалот самодовольно и бесшумно смеется и говорит, обратившись к Дине:

– Как же! Но господин барон был во время плавания так же необщителен, как сегодня.

– Весьма возможно, – ответил я. – К сожалению, такова моя привычка, я не особенно люблю дорожные знакомства.

И этим инцидент был для меня исчерпан, но не для кашалота.

Ойген Бишоф заговорил об изумительной памяти на лица, которую только что еще раз доказал инженер. Ойген Бишоф всегда готов наделять своих друзей всевозможными дарованиями и выдающимися качествами.

– Полно, что вы, – говорит инженер, похлебывая чай. – В этом случае никакой особенной памяти я не показал. Правда, лицо у господина барона как у тысячи других людей, – вы меня простите, барон, но положительно удивляться надо, до чего вы похожи на множество других людей, – но зато у вашей английской трубки физиономия, несомненно, характерная. По ней-то я вас сразу и узнал.

Я нахожу, что его шутки довольно плоски и что он несколько не в меру занят моею особю. Решительно не понимаю, чем заслужил я такую честь.

– Ну, Ойген, рассказывай теперь ты, душа моя, – восклицает кашалот громко и бесцеремонно. – У тебя был, читал я, большой успех в Берлине, все газеты ведь только о тебе и говорили. А как у тебя идет дело с королем Ричардом? Подвигается оно?

– Не будем ли мы дальше играть? – предлагаю я.

Кашалот сделал преувеличенно испуганный, извинительный жест.

– Вы еще не кончили? Ах, ради бога, простите. Право же, я думал... Я ведь совсем немужыкален.

– Это отнюдь не ускользнуло от моего внимания, – уверил я его с чрезвычайно любезным выражением лица.

Он делает вид, будто не расслышал этого замечания. Садится, вытягивает ноги, берет несколько фотографий со стола и углубляется в созерцание карточки, на которой Ойген Бишоф представлен в костюме какого-то шекспировского короля.

Я начинаю настраивать скрипку.

– Мы сделали только небольшую паузу между первой и второй частями – в вашу честь, господин инженер, – говорит доктор Горский, и я слышу, как Дина шепчет мне:

– Отчего вы так не приветливы с Сольгрубом?

Я, вероятно, залился краской в этот миг, я всегда краснею, когда она заговаривает со мною. Повернув голову, я вижу своеобразный овал ее лица, темные глаза, удивленно и вопрошающе на меня устремленные. И я ищу ответа, хочу объяснить ей свою антипатию, объяснить, что чувствую предубеждение к людям, которые так некстати врываются в комнату. Конечно, они в этом не виноваты и могут быть в то же время превосходными людьми, я это сознаю. Таково уж их роковое предрасположение – всегда появляться в тот миг, когда они

мешают. Я с этим соглашаюсь охотно, но не могу подавить в себе эту антипатию, ничего не поделаешь, таким уж я рожден...

Нет! Кого же я стараюсь провести? Ведь это все неправда. Это ревность, жалкая ревность, страдание преданной любви. При виде Дины я становлюсь цепной собакой, которая стережет ее. Кто к ней приближается, тот становится моим смертельным врагом. Каждый взор ее глаз, каждое слово ее уст я хочу сохранить для себя. То, что я не могу освободиться от нее, не могу встать и навсегда положить этому конец, – это болит, это горит во мне...

Тише! Доктор Горский делает знак. Он дважды ударяет смычком по пюпитру, и мы приступаем ко второй части.

Глава 3

Эта вторая часть Н-dug-ного трио – как часто уже устрашала она меня и потрясала своими ритмами! Никогда не мог я ее доиграть до конца, не чувствуя себя глубоко подавленным, и все же я люблю ее страстно.

Скерцо, да, но какое скерцо! Начинается оно с жуткого веселья, с радости, от которой леденеет кровь. Какой-то призрачный смех проносится по воздуху, дикая и мрачная свистопляска козлоногих фигур. Таково начало этого странного скерцо. И вдруг над адской вакханалией поднимается одинокий человеческий голос, голос заблудшей души, терзаемого страхом сердца, и жалуется на скорбь свою.

Но вот опять сатанинский хохот врывается с громом в чистые звуки и разрывает в клочья песню. Снова поднимается голос, робко и тихо, и находит свою мелодию и высоко возносит ее, словно хочет умчаться с нею в мир иной.

Но духам ада дана вся власть, занялся день, последний день, день Страшного суда. Сатана торжествует над грешной душой, и плачущий человеческий голос срывается с высоты и тонет в Иудином хохоте отчаяния.

Несколько минут сидел я молча среди молчащих людей, когда сыграно было скерцо.

Потом безутешно-мрачный сонм призраков исчез. Рассеялось видение Страшного суда, кошмар покинул меня.

Доктор Горский встал и принялся медленно расхаживать по комнате. Ойген Бишоф сидел безмолвно, уйдя в себя, а инженер потягивался, словно только что проснулся. Потом взял папиросу из стоявшей на столе коробки и довольно шумно захлопнул ее крышку.

Мой взгляд скользнул по Дине Бишоф. Человек часто просыпается утром с мыслью, которая была у него последнею перед тем, как он заснул. Так и я, доиграв вторую часть, опять начал думать о том, что прогневил ее и должен умиловить. И это желание умиловить ее становилось во мне все сильнее, все настойчивее, чем дольше я смотрел на нее. Ни о чем другом я не мог уже думать – вероятно, это детское желание было одним из последствий музыки.

Но вот она обращается ко мне:

– Ну, барон, что вы так задумчивы? О чем мечтаете?

– Я думал о своем щенке Заморе...

Я знаю хорошо, для чего это говорю, я смотрю ей прямо в глаза, мы это знаем оба, Дина и я. Она знала его, ах, как хорошо она его знала... Она вздрагивает, ничего об этом не желает слышать, качает головой и сердито отворачивается. Только теперь она по-настоящему рассердилась на меня. Мне не следовало это говорить, не следовало напоминать ей про Замора, моего маленького щенка, во всяком случае, не в этот миг, когда она, наверное, думает только об этом незнакомце, об этом кашалоте.

Между тем доктор Горский уложил в футляр виолончель и смычок.

– Я думаю, довольно на сегодня, – говорит он, – от третьей части избавим господина инженера, не так ли?

Дина, запрокинув голову, напевает про себя тему адажио.

– Слышите – это звучит как баркарола, правда?

Кашалот, к моему удивлению, тоже начинает напевать тему третьей части, почти безошибочно, только в несколько ускоренном темпе. А затем говорит:

– Баркарола? Нет. Вас, вероятно, обольщает скользкий ритм. Мне, во всяком случае, эта тема внушает представление совсем другого рода.

– Вы, вижу я, очень хорошо знаете Н-dug-ное трио, – говорю я, и этим, кажется, я умиловил Дину Бишоф. Она тотчас же живо ко мне оборачивается.

– Надо вам знать, друг наш Сольгруб вовсе не так немзыкален, как говорит. Он только считает своим долгом выставить напоказ высокомерное свое отношение к музыке и ко всем остальным бесполезным искусствам. Не правда ли, этого требует ваша профессия, Вольдемар? И он хочет меня убедить, что интересуется моим мужем как актером только потому, что видел его фотографию на открытых письмах и в иллюстрированном журнале. Молчите, Вольдемар, я отлично знаю вас.

Кашалот делает такой вид, словно речь идет не о нем. Взял книгу с полки и перелистывает ее. Но ему, по-видимому, очень приятно быть средоточием беседы и подвергаться анализу Дины.

– А при этом, – вмешивается в разговор брат Дины, – музыка так сильно действует на Сольгруба, как ни на кого из нас. Русская душа, знаете ли. Он сразу видит перед собою целые картины, какой-нибудь ландшафт, и море под облачным небом, и прибой, и закат солнца или же человека и его телодвижения, или – как это было недавно – стадо бегущих казуаров и бог весть что еще.

– Недавно, – рассказывает Дина, – когда я играла последнюю часть *appassionat'ы*, – не правда ли, Вольдемар, у вас от *appassionat'ы* возник в голове образ ругающегося солдата?

«Вот у них как дело далеко зашло, – подумал я с горечью и гневом, – она ему играет бетховенские сонаты. Так это началось когда-то и у меня с Диной».

Кашалот отложил книгу в сторону.

– *Appassionata*, третья часть, – говорит он задумчиво и, откинувшись на спинку кресла, закрывает глаза. – При этих звуках я вижу с отчетливостью, какой теперь не могу передать, – каждую пуговицу на его мундире мог бы я описать в ту минуту, – вижу калеку на деревяшке, старого инвалида наполеоновских войск, который, ругаясь и шумя, ковыляет по комнате.

– Ругаясь и шумя? Бедняга! Вероятно, он потерял свои жалкие сбережения.

Сказал я это без всякого умысла, ничего при этом не думая, только шутки ради. Но уже в следующий миг догадываюсь, какое тягостное впечатление должна произвести такая шутка. И в самом деле, доктор Горский неодобрительно качает головой, Феликс обдает меня гневным взглядом и предостерегающе подносит ко рту руку в белой повязке, а Дина глядит на меня в сильном испуге и удивлении. Наступает неловкая пауза, я чувствую, как краснею от смущения. Но Ойген Бишоф ничего этого не заметил. Он обращается к инженеру.

– Я часто завидовал силе твоего пластического воображения, Сольгруб, – говорит он, и весьма подавленный вид имеет в данный миг этот кумир галерки и герой театральных школ. – Тебе бы следовало стать актером, милый Сольгруб.

– Вы ли это говорите, Бишоф, – восклицает доктор Горский почти запальчиво, – вы, начиненный образами и типами? Ведь у вас в голове они нагромождены друг на друга – короли и мятежники, канцлеры, папы, убийцы, мошенники, архангелы, нищие и сам Господь Бог.

– Но никого из них ни разу не видел я перед собою так живо, как Сольгруб своего калеку-инвалида. Мне являлись только их тени. Только туманные призраки, бесцветные и бесформенные, похожие то на одного, то на другого. Если бы я мог, как Сольгруб, описывать пуговицы на мундире, о боже, каким бы я стал воплостителем типов!

Я понимаю меланхолию, звучащую в его словах. Он состарился, он уже не прежний знаменитый Ойген Бишоф. Ему дают это чувствовать, и он это чувствует сам, он с этим борется и не хочет в этом сознаться себе. Бедняга, какие безнадежно печальные ждут тебя годы, годы заката!

И вдруг мне припоминается моя беседа с директором. Что, если бы ему кто-нибудь передал это замечание... Если бы я сам... «Вы знаете, милый Ойген, что я с вашим директором в приятельских отношениях? Недавно мы с ним болтали на разные темы, и под конец он мне сказал – вам ведь я могу это передать, не отнесетесь же вы к этому трагически, недавно он сказал мне, разумеется, только в шутку...»

О боже, что это за мысли! Упаси его бог узнать об этом. Это был бы конец. Он душевно так слаб, так неуравновешен, от малейшего дуновения ветра может свалиться.

Теперь брат Дины старается его приободрить. Милый мальчик пускает в ход все сценические термины, какие слышал: психологическая детализация, проникновение в дух произведения и так далее. Но Ойген Бишоф качает головой.

– Брось дурака валять, Феликс, – сказал он. – Ты знаешь не хуже меня, чего мне не достает. То, что ты говоришь, довольно верно, но не в этом суть. Поверь мне, всему этому можно научиться или же оно является само вместе с задачей, перед которою тебя ставят. Только творческой фантазии научиться нельзя. Либо она есть, либо ее нет. Этой фантазии, творящей миры из ничего, вот чего мне не хватает, как и многим другим, как большинству. Да, конечно, я знаю, что ты хочешь сказать, Дина: я проложил себе дорогу, я кое на что способен, что бы там обо мне ни писали в газетах. Но подозревает ли кто-нибудь из вас, какой я в действительности трезвый и сухой человек? Вот, например, произошла одна история, от которой надо бы потерять покой и сон. Мороз бы должен был пробрать меня по коже, мне следовало бы содрогнуться от жути, а на меня, видит бог, это действует не больше, чем когда я за завтраком пробегаю хронику несчастных случаев в газете.

– Вы сегодня читали газету? – спросил я.

При этом я имел в виду рабочие беспорядки в Петербурге: Ойген Бишоф очень интересуется социальным вопросом.

– Нет, не читал. Я не мог сегодня утром найти газету. Дина, куда она запропастилась?

Дина бледнеет, краснеет и опять бледнеет... Боже, как мог я не сообразить, что от него прячут газету, где помещена заметка о крахе его банкирской конторы. Опять уж я натворил бог знает чего. Я совершаю одну бестактность за другою.

Но Дина быстро овладела собою и легким тоном говорит, как о безделице:

– Газета? Кажется, я видела ее где-то в саду. Я разыщу ее. Но ты начал только что говорить о чем-то интересном, Ойген, рассказывай же дальше.

Рядом со мною стоит брат Дины и шепчет мне еле слышно, почти не разжимая губ:

– Вы намерены продолжать свои эксперименты?

Я совершил оплошность в момент рассеянности, больше ничего... Как же это можно объяснить иначе?

Глава 4

Ойген Бишоф расхаживает по комнате, чем-то он занят и как будто старается выразить словами какую-то мысль. Вдруг он останавливается передо мною и смотрит на меня. Глядит мне прямо в лицо испытующе, с беспокойным и неуверенным выражением глаз, почти недоверчиво. От этого взгляда мне становится как-то жутко, сам не знаю почему.

– Странная история, барон, – говорит он. – Возможно, что вас бросит в дрожь и в жар, если я вам расскажу ее. Вы сегодня ночью, пожалуй, не сможете заснуть, вот такая это история. Но вот здесь, – и Ойген Бишоф ударил себя по лбу, – здесь у меня сидит какая-то клеточка, которая не дает себя вывести из состояния покоя. Она реагирует только на мелкие повседневные происшествия, на обыденщину. Но для страха, и жути, и отчаяния, и неистового испуга – для всего этого она непригодна. Для этого у меня нет надлежащего органа.

– Расскажите же нам, наконец, эту историю, Бишоф! – перебил его доктор Горский.

– Не знаю, удастся ли мне объяснить вам, в чем заключается необыкновенная сторона этого происшествия. Рассказчиком я был всегда плохим, вы это знаете. Быть может, вам это все совсем не покажется таким волнующим...

– К чему долгие предисловия, Ойген, начинай же! – говорит инженер, стряхнув пепел с папиросы.

– Ладно, выслушайте меня и думайте потом что хотите. История вот какова. Недавно я познакомился с молодым морским офицером. Он получил долгосрочный отпуск для приведения в порядок своих семейных дел. Эти семейные дела, занимавшие его, были особого свойства. Здесь, в городе, жил его младший брат, художник и ученик академии. Художник этот, человек, по-видимому, очень даровитый – я видел некоторые его работы – «Детскую группу», «Сестру милосердия», «Купающуюся девушку», – этот молодой человек наложил на себя руки. Самоубийство его решительно ничем не было мотивировано. Ни малейшего повода к такому акту отчаяния у него не могло быть. Не было у этого юноши ни долгов, ни других денежных забот, ни несчастной любви, ни болезни – словом, это было в высшей степени загадочное происшествие. И брат его...

– Такие самоубийства случаются чаще, чем принято думать, – заметил доктор Горский. – Полицейские протоколы довольствуются обычно формулой «в мгновенном беспамятстве».

– Да, так говорилось и в этом случае, но семья этим не удовлетворилась. Родителям прежде всего показалось непостижимым, что сын не оставил прощального письма. Даже обычной в таких случаях фразы: «Дорогие родители, простите меня, но я не мог иначе» – даже такой короткой строчки не удалось найти среди бумаг самоубийцы. Да и в прежних его письмах не было ни слова, которое указывало бы на возникшее или развивавшееся намерение покончить с собою. Семья не поверила поэтому в самоубийство, и старший брат взялся поехать в Вену и выяснить происшедшее.

У офицера этого был определенный план, и он принялся проводить его с чрезвычайной энергией и упорством. Он поселился в квартире брата и усвоил себе его привычки и даже его распорядок дня, искал знакомства со всеми людьми, с которыми водился покойный. Всех остальных случаев знакомиться с людьми он избегал. Сделавшись учеником академии, стал рисовать и писать красками, проводил ежедневно несколько часов в кафе, где брат его был завсегдатаем, он был даже настолько педантичен, что носил одежду брата и записался на курсы итальянского языка для начинающих, которые посещал его брат, причем ходил исправнейшим образом на все уроки, хотя, будучи морским офицером, и без того владел в совершенстве итальянским языком. И все это он делал в уверенности, что таким путем должен непременно прийти в конце концов к выяснению причины загадочного самоубийства, – ничто не могло его сбить с этого пути.

Такую жизнь, которая была, в сущности, жизнью другого, он вел целых два месяца, и я не знаю, приблизился ли он за это время к своей цели. Но однажды он пришел домой очень поздно. Его хозяйка обратила внимание на этот поздний приход, противоречивший его обычному, с точностью до минуты, предустановленному препровождению времени. Настроен он был неплохо, хотя и досадовал на то, что обед простыл. Он сказал, что собирается вечером пойти в оперу, билеты, должно быть, еще не все распроданы, заметил он, а к одиннадцати часам просил подать ужин в его комнату.

Спустя четверть часа пришла кухарка с черным кофе. Дверь была заперта, но она слышала шаги офицера, расхаживавшего по комнате. Она постучала, сказала: «Кофе, господин лейтенант!» – и поставила чашку на стул перед дверью. Немного погодя она пришла еще раз за посудой. Кофе стоит по-прежнему перед дверью. Она стучит, офицер не отвечает, она прислушивается – в комнате тишина; но вдруг она слышит слова и возгласы на непонятном языке, и сейчас же после этого раздается громкий крик.

Она дергает за дверную ручку, зовет, поднимает шум, прибегает хозяйка, обе взламывают дверь – комната пуста. Но окна открыты настежь, с улицы доносятся крики, и тут им становится ясно, что произошло: внизу теснятся люди вокруг трупа, молодой офицер за полминуты до этого выбросился в окно... На столе еще лежит его тлеющая папироса.

– Выбросился в окно? – прервал рассказчика инженер. – Это поразительно. Ведь у него, как у офицера, наверное, было оружие.

– Совершенно верно. В ящике письменного стола был найден револьвер, вполне исправный, но незаряженный. Офицерский револьвер, девятимиллиметрового калибра. В том же ящике находилась целая коробка патронов к нему.

– Дальше, дальше, – торопил доктор Горский.

– Дальше? Да ведь это все. Он покончил с собою так же, как его брат. Нашел ли он разгадку тайны, не знаю. Но если нашел, то имел, по-видимому, основания унести эту тайну с собою.

– Что за вздор! – воскликнул доктор Горский. – Ведь оставил же он какую-нибудь записку, объяснение своего поступка, какую-нибудь строчку, по крайней мере для родителей.

– Нет.

Не Ойген Бишоф произнес уверенным тоном этот ответ, а инженер Сольгруб. И он продолжал:

– Разве вы не понимаете, что у этого офицера не было времени? Времени не было, вот что поразительнее всего в этом самоубийстве. Он не успел достать свой револьвер и зарядить его. Как же мог он успеть написать прощальное письмо?

– Ты ошибаешься, Сольгруб, – сказал Ойген Бишоф, – офицер оставил письменное сообщение. Оно, впрочем, состояло из одного только слова или, вернее, части слова.

– Вот это называется военным лаконизмом, – заметил доктор Горский и веселым подмигиванием дал понять, что считает вымыслом всю эту историю.

– Потом острие карандаша сломалось, – закончил свой рассказ Ойген Бишоф, – бумага в этом месте прорвана.

– Какое же слово?

– Оно было нацарапано необыкновенно спешно, его почти невозможно было разобрать, и гласило оно: «Ужас...»

Никто из нас не произнес ни слова, только у инженера вырвалось короткое удивленное «ах!».

Дина встала и повернула выключатель. В комнате стало теперь светло, но гнетущее чувство, овладевшее мною, овладевшее всеми нами, не исчезло.

Один только доктор Горский отнесся к делу скептически.

– Признавайтесь, Бишоф, – сказал он, – всю эту историю вы сочинили, чтобы нас запугать.

Ойген Бишоф покачал головой:

– Нет, доктор, ничего я не сочинил. Все это произошло совсем недавно и во всех подробностях именно так, как я вам рассказал. Да, по временам наталкиваешься на необычайные вещи, доктор, можете мне поверить. Как смотришь ты на этот случай, Сольгруб?

– Убийство! – сказал инженер коротко и решительно. – Весьма необыкновенный род убийства, это мне ясно. Но кто убийца? Как проник он в комнату и как исчез? Надо бы всю эту историю тщательно обсудить наедине с самим собою.

Он взглянул на свои часы.

– Поздно уже, мне пора уходить.

– Вздор! Вы все останетесь ужинать, – объявил Ойген Бишоф. – А затем мы еще посидим и немного поболтаем о более веселых вещах.

– А как бы вы отнеслись к тому, чтобы собравшееся здесь общество ценителей прослушало кое-что из вашей новой роли? – спросил доктор Горский.

Ойгену Бишофу предстояло через несколько дней впервые выступить в роли Ричарда III – об этом сообщали все газеты. Но предложение доктора Горского, казалось, не понравилось ему. Он поджал губы и наморщил лоб.

– Не сегодня, – сказал он. – В другой раз с удовольствием.

Дина и ее брат принялись его упрасивать:

– Отчего не сегодня? Что за капризы? Все уже предвкушают эту радость.

– Хочется же иметь некоторое преимущество перед плебсом партера и лож, когда имеешь честь лично быть знакомым с вами, Бишоф, – признался доктор Горский.

Ойген Бишоф покачал головой и отказался наотрез:

– Нет, сегодня не могу. Вы бы услышали нечто совсем необработанное, а этого я не хочу.

– Устрой своего рода генеральную репетицию перед добрыми друзьями, – предложил инженер.

– Да нет же, не уговаривай меня. Я ведь обычно не заставляю себя долго просить, вы знаете. Я и сам люблю читать. Но сегодня не могу. У меня еще не живет в воображении образ этого Ричарда. Мне надо иметь его перед глазами, надо видеть его, иначе я бессилен.

Доктор Горский сделал вид, будто сдается, но снова весело мне подмигнул, потому что владел превосходным и многократно испытанным способом преодолевать сопротивление актера и собирался прибегнуть к этому способу. Приступил он к делу очень хитро и осмотрительно и принялся в непринужденном тоне рассказывать об одном весьма посредственном берлинском актере, которого якобы видел однажды в этой роли. Актера этого он очень стал хвалить.

– Вы знаете, Бишоф, я не особенный энтузиаст, но этот Земблинский положительно феноменален. Какие идеи у этого дьявола! Как он сидит на ступенях дворца, подбрасывает перчатку и ловит ее, и жмурится, и потягивается, как кошка на солнце! А затем как он строит свой монолог!

И чтобы дать об этом представление Ойгену Бишофу, доктор Горский начинает декламировать с большим пафосом и пылкой жестикуляцией:

– «Меня природа лживая согнула и обделила красотой и ростом...»¹

Он прервал себя самого замечанием:

– Нет, наоборот, сначала «обойден», потом «укорочен». Но это неважно. «Уродлив, жалок... – как там дальше? – ...выброшен до срока в сей мир дыхания...»

– Довольно, доктор, – перебил его актер, покамест еще очень кротко.

¹ У. Шекспир. «Ричард III», пер. А. Радловой, акт I, сц. 1, строки 18–19. (Здесь и далее примеч. пер.)

– «В сей мир дыханья, – не мешайте мне, – недоделан даже наполовину, холм и так ужасен, что псы рычат, когда я прохожу...»

– Довольно! – крикнул Ойген Бишоф и зажал уши руками. – Перестаньте! Вы меня изводите.

Доктор Горский продолжал, не смущаясь:

– «И если не могу я, как влюбленный, красноречиво время коротать, то я намерен страшным стать злодеем».

– А я намерен вас задушить, если вы не перестанете! – взревел Ойген Бишоф. – Помилуйте, вы ведь превращаете этого Глостера в сентиментального шута! Ричард III – хищный зверь, изверг, бестия, но все же он мужчина и король, а не истерический паяц, черт меня побери совсем.

Он взволнованно зашагал по комнате, увлеченный ролью. Вдруг он остановился, и все произошло совершенно так, как это предвидел доктор Горский.

– Я покажу вам, как надо играть Ричарда. Замолчите-ка теперь – вы услышите этот монолог.

– Я по-своему понимаю эту фигуру, – сказал с невозмутимой дерзостью доктор Горский. – Но вы актер, а не я, и я охотно познакомлюсь с вашим толкованием.

Ойген Бишоф обдал его лукавым презрительным взглядом. Собираясь превратиться в шекспировского короля, он видел перед собой уже не доктора Горского, а своего несчастного брата Кларенса.

– Внимание! – приказал он. – Я уйду на несколько минут в павильон. Откройте тем временем окна: здесь ведь нельзя дышать от табачного дыма. Я сейчас вернусь.

– Ты хочешь загримироваться? – спросил брат Дины. – К чему это? Читай без грима.

Глаза у Ойгена Бишофа сверкали и горели. Он был в таком возбуждении, какого я никогда еще у него не наблюдал. И сказал он нечто весьма странное:

– Загримироваться? Нет. Я хочу только увидеть пуговицы на мундире. Вы должны меня оставить на некоторое время в одиночестве. Через две минуты я снова буду здесь.

Он вышел, но сейчас же возвратился.

– Послушайте, ваш Земблинский, ваш великий Земблинский, – знаете ли, кто он такой? Болван, и больше ничего. Я его видел как-то в роли Яго – это было непереносимо.

И затем он выбежал из комнаты. Я видел, как он быстро шел по саду, разговаривая с самим собой, жестикулируя; он был уже в Байнардском замке, в мире короля Ричарда. По дороге он чуть было не опрокинул старика садовника, который все еще стоял на коленях и срезал траву, хотя сумерки уже сгустились. Сейчас же после этого фигура Ойгена Бишофа исчезла, и спустя мгновение окна павильона осветились и начали струить трепетные лучи, посылая колеблющиеся тени в большой, безмолвный, одетый мраком сад.

Глава 5

Доктор Горский все еще продолжал с ложным пафосом и смешными жестами декламировать стихи из трагедий Шекспира. Делал он это теперь, когда Ойгена Бишофа с нами не было, только из увлечения, из упрямства и чтобы скоротать время ожидания. Придя в полное исступление, он взялся за короля Лира и, к нашей общей досаде, начал своим несколько хриплым голосом исполнять песни шута, тут же придумывая к ним мелодии. Инженер между тем сидел молчаливо в кресле, выкуривал одну папироску за другой и рассматривал узоры ковра у себя под ногами. Ему не давала покоя история морского офицера, загадочные и трагические обстоятельства этого самоубийства продолжали занимать его мысль. По временам он, встрепенувшись и удивленно покачивая головой, глядел на поющего доктора как на редкое и непостижимое явление и один раз сделал попытку возвратить его в мир действительности.

Он перегнулся вперед и решительно схватил доктора Горского за руку.

– Послушайте, доктор, одна подробность в этом деле мне совершенно непонятна. Помолчите немного, выслушайте меня, пожалуйста. Допустим, что это было самоубийство, которое совершено под влиянием внезапного решения. Ладно. Но почему, позвольте вас спросить, офицер уже за четверть часа до этого заперся в своей комнате? Еще совсем не думает о самоубийстве, а запирает дверь... С какой целью? Объясните мне это, если можете.

– «Шутом своим назначь того, кто дал тебе совет уйти из царства своего; иль сам держи ответ».

Только этими словами да еще сердитым движением руки, каким отмахиваются от мухи, ответил ему доктор Горский.

– Бросьте вы вздор молоть, доктор, – уговаривал его инженер. – За четверть часа до самоубийства он запирает дверь. Казалось бы, времени у него достаточно для приготовлений. А потом он выскакивает в окно. Но так не поступает офицер, у которого лежит револьвер в письменном столе да еще полная коробка патронов к нему.

Доктору Горскому эти соображения и выводы не помешали продолжать пение шекспировских стихов. Он был весь во власти вдохновения. И смешно было смотреть на этого маленького и немного кривого восторженного человечка, стоявшего посреди комнаты и дергавшего струны воображаемой лютни.

– «Кто сладкий шут, кто горький шут, узнаешь ты тогда...»

Инженер убедился наконец, что его невозможно склонить к обсуждению этого вопроса, и обратился ко мне:

– Тут есть ведь, в сущности, противоречие, вы не находите? Напомните мне, будьте добры, о том, чтобы я спросил об этом Ойгена Бишофа перед нашим уходом.

– Куда девалась моя сестра? – спросил Феликс.

– Она хорошо сделала, что ушла, тут чересчур накурено, – заметил инженер и бросил окурок в пепельницу. – *Magna pars fui*², сознаюсь. Нам следовало открыть окна, мы об этом забыли.

Никто не заметил, как я вышел. Я тихо прикрыл за собою дверь. В надежде найти Дину в саду я стал ходить по песчаным дорожкам до деревянного забора соседнего сада. Но ни в одном из обычных мест не нашел ее.

На садовом столе под откосом лежала открытая книга, ее листы были влажны от дождя или ночной росы. В нише стены мне померещилась какая-то фигура. «Это Дина», – подумал я, но, подойдя ближе, я увидел садовую утварь, две пустые лейки, корзину, прислоненные к стене грабли и порванный гамак, качавшийся от ветра.

² Здесь: многовато дыма (лат.).

Не знаю, как долго я оставался в саду. Может быть, долго. Возможно, что я стоял, прислонившись к стволу дерева, и грезил.

Вдруг я услышал шум и громкий смех, доносившийся из комнаты. Чья-то рука резво пробежала по клавишам рояля от самой низкой октавы до последних пронзительных дискантов. В раме окна показалась фигура Феликса, как большая темная тень.

– Это ты, Ойген? – крикнул он в сад. – Нет... Это вы, барон? – В голосе его прозвучала вдруг тревога: – Где вы были? Откуда идете?

За его спиной показался доктор Горский, узнал меня тоже и принялся декламировать:

– «Тебя ли в лунном свете вижу я?..»

Он запнулся, кто-то из двух других оттащил его от окна, я еще только услышал его возглас:

– «Прочь, дерзновенный!..»

Потом наступила тишина. Над их головами, во втором этаже виллы, сделалось вдруг светло. Дина появилась на веранде и начала накрывать на стол в мягком свете стоячей лампы.

Я вернулся в дом и поднялся по деревянной лестнице на веранду. Дина услышала мои шаги, повернула голову в мою сторону и поднесла руку к глазам козырьком.

– Это ты, Готфрид? – сказала она.

Я молча сел против нее и смотрел, как она ставит тарелки и стаканы на белую скатерть стола. Я слышал ее глубокое и ровное дыхание, она дышала, как спящий ребенок. Ветер гнул и раскачивал ветви каштановых деревьев и гнал перед собою по аллеям маленькие кавалькады блеклых осенних листьев. Внизу старый садовник все еще работал. Он зажег фонарь, стоявший рядом с ним на грядке, и тусклый свет фонаря смешивался с яркими полосами света, широко и спокойно струившимися из окон павильона.

Вдруг я вздрогнул.

Кто-то позвал меня: «Пош!» Только этот звук раздался, но в голосе послышалось нечто, испугавшее меня: гнев, отвращение, упрек и тревога.

Дина приостановила свою работу и прислушалась. Потом взглянула на меня вопросительно и удивленно.

– Это Ойген, – сказала она. – Что ему нужно?

И вот... голос Ойгена Бишофа раздался во второй раз:

– Дина! Дина! – кричит он, но теперь его голос звучит совсем иначе, не гнев и тревога, а скорбь, терзание, бесконечное отчаяние слышатся в нем на этот раз.

– Я здесь, Ойген! Здесь! – кричит Дина, выгнувшись из окна.

Две-три секунды тишина. Потом раздается выстрел, и сейчас же после него второй.

Я видел, как отшатнулась Дина. Она замерла в неподвижности, не в силах ни шевельнуться, ни заговорить. Я не мог остаться с нею, меня повлекло вниз посмотреть, что случилось. Помнится, у меня в первый миг возникло представление о двух ворах, пробравшихся в сад за фруктами. Не знаю, как это произошло, но я очутился не в саду, а в совершенно мне незнакомой темной комнате первого этажа. Я не находил выхода – ни окна, ни света. Повсюду стена, я больно ударился лбом о что-то твердое, угловатое. В течение минуты я бродил впотьмах, ощупывая стены, все яростнее, все беспомощнее.

Потом послышались шаги, открылась дверь, во мраке вспыхнула спичка. Передо мною стоял инженер.

– Что это было? – спросил я, испуганный и встревоженный и все же обрадованный тем, что стало наконец светло и что я не один. – Что это было? Что случилось?

Представление о ворах превратилось в отчетливую картину, и я был убежден, что видел ее. Мне казалось теперь, что их было трое. Один, маленький, бородатый, свесился с садовой ограды, другой только что поднялся с земли, а третий бежал вприпрыжку за кустами и деревьями к павильону.

– Что случилось? – спросил я еще раз.

Спичка погасла, и лицо инженера, бледное и оторопелое, исчезло во мраке.

– Я ищу Дину, – услышал я его слова. – Ее нельзя пускать к нему. Это ужасно. Кто-нибудь из нас должен остаться с нею.

– Она наверху, на веранде.

– Как могли вы ее оставить одну? – крикнул он, и спустя мгновение его уже не было в комнате.

Я вошел в комнату, где мы музицировали. Она была пуста. Опрокинутый стул лежал перед дверью.

Спустился в сад. Помню еще мучительное нетерпение, которое испытывал оттого, что дорога через сад показалась мне такой длинной, бесконечной.

Дверь в павильон была открыта. Я вошел.

Внезапно, прежде еще, чем я окинул взглядом комнату, мне стало ясно, что произошло. Я понял, что борьбы с ворами не было, что Ойген Бишоф покончил с собою. Откуда у меня вдруг появилась такая уверенность, не могу сказать.

Он лежал около письменного стола на полу с лицом, обращенным ко мне. Пиджак и жилет были расстегнуты, револьвер зажат в вытянутой правой руке. При падении он увлек за собою две книги, письменный прибор и маленький мраморный бюст Иффланда. Рядом с ним стоял на коленях доктор Горский.

Когда я вошел, жизнь еще тлела в Ойгене Бишофе. Он открыл глаза, рука у него вздрогнула, голова шевельнулась. Показалось ли мне это только? Его слегка искаженное болью лицо выразило, так почудилось мне, неопишное изумление, когда он узнал меня.

Он пытался приподняться, хотел заговорить, простонал и откинулся назад. Доктор Горский держал его левую руку.

Но только на протяжении одного короткого мгновения в чертах его было заметно это загадочное выражение безграничного удивления. Потом их исказила гримаса неистовой ненависти.

И этот полный ненависти взгляд устремлен был на меня, не выпускал меня. Ко мне относился он, ко мне одному, и я не мог его объяснить себе, не мог понять, что должен был он означать. И самого себя не понимал я, не мог постигнуть того, что, стоя перед умирающим, испытывал не ужас, не испуг или уныние, а только легкое жуткое чувство от его взгляда и боязнь запачкаться о пятно крови на ковре, которое становилось все шире.

Доктор Горский встал. Лицо Ойгена Бишофа, некогда такое подвижное, превратилось в бледную, застывшую, безмолвную маску.

Со стороны двери я услышал голос Феликса:

– Она идет! Она уже в саду! Доктор, что нам делать?

Доктор Горский снял со стены дождевой плащ и покрыл им бездыханное тело актера.

– Пойдите к ней навстречу, доктор! – попросил Феликс. – Поговорите с нею, я не могу.

Я видел, как Дина шла по саду к павильону и рядом с нею шел инженер и старался удерживать ее. Мною овладела вдруг бесконечная усталость, я не мог устоять на ногах, охотнее всего я кинулся бы в траву, чтобы отдохнуть.

– Это ничего, – сказал я себе, – это только временная слабость, быть может, потому, что я раньше так быстро бежал по саду.

И после того как Дина исчезла в дверях павильона, необыкновенная вещь случилась со мною.

Глухой садовник все еще занят был своею работою, склонившись над травой. Для него не произошло ничего, он не слышал ни крика, ни выстрела. Но теперь он, очевидно, почувствовал на себе мой взгляд, потому что выпрямился и посмотрел на меня.

– Вы меня позвали? – спросил он.

Я покачал головой. Нет, я не звал его.

Но он не поверил мне. Шум, заглушенно и смутно проникший в его глухие уши, вызвал в нем неопределенное ощущение, что кто-то произнес его имя.

– Нет, вы меня окликнули, – повторил он ворчливо и, взявшись опять за работу, уже не спускал с меня глаз, подозрительно косясь на меня.

И в этот миг... Только в этот миг охватил меня тот ужас, которого я не испытывал перед трупом Ойгена Бишофа. Теперь он вдруг возник. Отчаяние потрясло меня, мороз пробежал у меня по коже. Нет. Я не звал его... Вот он стоит, и пялит на меня глаза, и поднимает серп, и срезает траву. Это старый глухой садовник, да, но вид у него был одно мгновение такой, как на одной старой картине у фигуры смерти.

Глава 6

Это длилось только короткое мгновение, а затем я опять овладел своими нервами и чувствами. Я покачал головой, я не мог не улыбнуться при мысли, что, грезя наяву, принял простодушного старого слугу за молчаливого посланца смерти, темного лодочника Леты. Медленно пошел я по саду до откоса и там, в укромном уголке между забором и оранжереей, нашел стол и скамью и опустился на нее.

Должно быть, раньше шел дождь, или то была ночная роса? Листья и ветви кустов сирени обдали мне влагой лицо, дождевая капля скользнула по руке. Неподалеку от меня стояли, должно быть, сосны и ели, я не видел их во мраке, но их запах доносился ко мне.

Мне было приятно здесь сидеть, я вдыхал прохладный сырой воздух сада, подставляя порывам ветра лицо, прислушивался к дыханию ночи. Я испытывал тихо сверлящее чувство страха, боялся, что мое отсутствие будет замечено, что меня примутся искать и найдут наконец в этом месте. Нет! Мне нужно было быть одному, ни с кем бы я не мог теперь говорить, ни с Диной, ни с ее братом, и боялся с ними встретиться: что мог бы я им сказать? Только пустые слова утешения, бессодержательность которых была бы мне противна.

Я сознавал, что мое исчезновение должно быть истолковано так, как его, в сущности, следовало истолковать: как бегство от тяжелых впечатлений. Но это было мне безразлично. И я вспомнил, что в детстве часто поступал так же: когда в день ангела моей матери я должен был произнести тщательно выученные пожелания и стихи, на меня нашел такой страх, что я убежал и спрятался, меня не могли разыскать, и возвратился я только по окончании торжества.

Из открытого окна кухни соседнего дома доносились звуки гармоники. Несколько тактов пустого, глупого вальса, который я уже слышал несчетное число раз, «Valse bleue» или «Souvenir de Moscou»³ – я не мог вспомнить его названия. Как понять, что эти звуки так меня успокоили, унесли сразу прочь все то, что меня тяготило? «Valse bleue» – хороша траурная музыка! Там, в павильоне, лежит мертвец на полу, существо уже не моего, а иного мира, непостижимо чуждое существо. Но куда же делся ужас перед возвышенным, перед трагическим, перед непостижимым и непреложным? «Valse bleue»! Банальная мелодия танца, таков ритм жизни и смерти, так мы приходим и так уходим. То, что потрясает нас и повергает ниц, становится иронической усмешкой на лице мирового духа, для которого и страдание, и скорбь, и смерть земнородных не что иное, как извечно и ежечасно повторяющееся явление.

Музыка вдруг оборвалась, и несколько минут стояла глубокая тишина, только дождевые капли не переставали падать с ветвей кленов на стеклянную крышу оранжереи. Потом гармоника опять заиграла, на этот раз – марш... Где-то вблизи пробили часы на башне.

– Десять часов, – насчитал я. – Как поздно! А я сижу здесь и слушаю гармонику. А там... Дина и ее брат... Быть может, я нужен им... Меня, наверное, ищут... Дина не может не думать обо мне.

И тут же мне в голову пришло множество вещей, которыми нужно распорядиться: надо дать знать властям, должен явиться полицейский врач... Затем нужно снестись с похоронным бюро... А я сижу здесь и слушаю музыку, что доносится из кухонного окна! Надо поместить объявления в газетах... Не все же одной Дине делать? А мы-то тут на что же? В газетах не должно быть ни слова о самоубийстве, надо сесть в фиакр и объехать редакции! Скоропостижная смерть любимого артиста... В расцвете творческих сил. Незаменимая утрата для отечественной сцены... для многих тысяч его поклонников... для глубоко потрясенной семьи...

А контора театра! Внезапно пришло мне это на ум. Господи, как мог никто не подумать об этом? Нужно изменить репертуар следующей недели, теперь это важнее всего. Открыта ли

³ «Голубой вальс», «Воспоминание о Москве» (фр.).

еще контора в этот час, да еще в воскресенье? Десять часов – нужно сейчас позвонить, или, еще лучше, позвоню-ка я директору. Как я раньше не подумал это сделать – я, в качестве друга дома?.. Но теперь не будем терять времени...

Я собирался вскочить и побежать, меня потянуло действовать, распоряжаться, взять на себя все заботы. «Нужно телефонировать, – сказал я себе еще раз, – через пять минут уже будет, пожалуй, поздно... Никого уже не будет в конторе... Во вторник идет «Король Ричард III»...» И тем не менее я продолжал сидеть, вялый и дряблый, смертельно утомленный и неспособный осуществить какое-либо из своих намерений.

«Я болен», – шептал я самому себе и еще раз попытался встать. Разумеется, у меня жар, я так и думал. Без пальто и шляпы сидеть на свежем воздухе холодной ночью и при такой сырости – этак и умереть можно. И я достал из кармана газету – она была при мне, бог весть зачем я взял ее с собою – и тщательно разложил ее листы на скамье, чтобы подо мною не было мокро. И вдруг у меня в ушах раздался голос моего старого врача, так отчетливо, словно старик стоял передо мною:

«Что слышу я, барон, мы больны? Немного бурно жили последнее время, не так ли? Немного переутомились, не правда ли? Ну-с, надо полежать немного в постели, денька два-три, быть может, время у нас ведь есть, мы ничего не теряем. Укутаться в одеяло потеплее, и горячего чаю, это наверное не повредит, и покой, только покой и еще раз покой, ни писем, ни газет, ни посетителей, вот это нам будет как полезно! Послушайтесь же старого своего доктора, он вам желает добра, и сейчас же отправляйтесь домой, тут нам нечего делать. Мы очень расхворались, жар, не правда ли? Дайте-ка пощупать пульс...»

Я послушно поднял руку и очнулся от сна – я сидел один на мокрой и холодной скамье. Я в самом деле был болен, озноб сотрясал меня, зубы стучали. Я хотел уйти домой не попросившись, я не нужен здесь, кому же я нужен? Дина и Феликс знают сами, что им надо делать, да и доктор Горский с ними, я только мешаю всем.

Спокойной ночи, сад! Спокойной ночи, гармоника, подруга этих одиноких мгновений... Милый старый Ойген, спокойной ночи навеки! Я уйду и оставляю тебя одного, я больше не нужен тебе...

Я встал, утомленный, промокший и продрогший, и хотел уйти, и ошупью искал свою шляпу. Но не находил и не мог вспомнить, где ее оставил. И в то время, как водил рукою по столу, нащупал книгу, которая лежала здесь раскрытая уже несколько дней или недель.

Быть может, потому, что пальцы мои прикоснулись к отсыревшим от дождя листам, быть может, от порыва ветра, опавшего мне лицо в тот миг, когда я собрался уходить, не знаю, отчего это случилось, но я вдруг ощутил дуновение и запах одного прошедшего дня, ощущал это в течение одной только секунды, но в эту секунду он ожил передо мною, и я его узнал. Осеннее утро за городом, на холмах, куда с огородов доносился запах вянувшей ботвы. Мы шли вверх по лесной дорожке, перед нами высилась зеленая стена холмов, и над вершинами деревьев стлался белый прозрачный туман. Словно предчувствием приближающихся холодов проникнут был пейзаж, холодно и ясно было синее осеннее небо, и по обеим сторонам дороги рдели кусты шиповника.

Дина склонилась головою ко мне на плечо, ветер играл короткими каштановыми кудрями на ее лбу. Мы остановились, и она тихо произносила стихи, стихи о красных листьях осени и о серебристом тумане, опустившемся на холмы.

Потом это видение исчезло, растворилось так же внезапно, как возникло, но другое воспоминание сменило его: дом, стоящий высоко в горах, ночь под Новый год, снежный полог вокруг, окна в ледяных узорах... Как хорошо, что хозяин поставил железную печурку в мою комнату, она трещит и сыплет искрами и добела раскалилась. В дверь скребется мой щенок, и повизгивает, и хочет к нам войти... «Это Замор, – шепчет она, – открой ему, он нас не выдаст».

И я оторвался от губ Дины, от объятий Дины, чтобы открыть ему дверь, и на мгновение ворвались в комнату холодный, сквозной ветер, и заглушенная музыка танцев, и звон стаканов...

Потом исчезло и это видение, осталось только ощущение холода, и все еще музыка танцев доносилась из кухонного окна. И меня охватило дикое отчаяние, жгучая боль... О боже мой, как могло случиться, что мы стали друг другу такими чужими?.. Может ли быть, чтобы исчезло то, что когда-то связало двух людей? Как могли мы сегодня сидеть друг против друга как два чужих человека и не обменяться ни словом? Как случилось то, что она так внезапно выскользнула из моих объятий и другой ее держит в своих, а я – я ныне тот, кто скребется в дверь и повизгивает тихо?

И тут, только в это мгновение, я осознал, что тот, другой, – умер; это слово «умер», что оно значит, – я понял только в это мгновение.

И оторопь, и изумление овладели мною при мысли об этой игре случая, по воле которого я оказался здесь, как раз сегодня и в этот час, когда рок свершился. Нет! Это не была игра случая, так было мне суждено, ибо существуют непреложные законы, которым мы подчинены.

И теперь, когда это случилось, я собирался уйти, ускользнуть?

...Я не мог понять, как могла такая мысль прийти мне на ум. А наверху сидит Дина, сидит в темной комнате и ждет.

– Это ты, Готфрид? Ты так долго не возвращался...

– Я встал, дорогая, чтобы открыть дверь. Ты ведь этого хотела. Теперь я снова с тобою...

В павильоне был еще свет. Я стоял, притаившись за каштановым деревом, и ждал.

Дверь открылась, и я услышал голоса. Феликс вышел с фонарем в руке и медленно направился к дому.

За ним как тени шли две фигуры: Дина и доктор Горский.

Она меня не видела.

– Дина, – сказал я тихо, когда она проходила мимо меня так близко, что почти коснулась меня рукою.

Она остановилась и ухватила за руку доктора Горского.

– Дина, – повторил я.

Тогда она выпустила руку доктора и шагнула в мою сторону.

Фонарь скользнул вверх по ступеням и исчез в дверях виллы. Одно мгновение я видел в его лучах фигуру Дины, одно мгновение деревья, кусты и гирлянды плюща отбрасывали тени – потом сад опять погрузился в глубокий мрак.

– Вы еще здесь? – услышал я голос Дины. – Что нужно вам здесь еще?

Что-то скользнуло по моему лбу, словно прикосновение легкой теплой руки. Я поднял руку ко лбу – это был только блеклый лист каштана, слетавший с вершины дерева на землю.

– Я искал своего Замора, – ответил я и хотел этим сказать, что думал о прошедших временах.

Долгое молчание.

– Если в вас есть искра человечности, – раздался наконец тихий и робкий голос Дины, – уходите отсюда, уходите сейчас.

Глава 7

Я стоял и смотрел ей вслед, несколько минут в ушах у меня звучал только любимый голос, и она уже давно исчезла, когда до моего сознания дошли наконец ее слова.

В первое мгновение я чувствовал беспомощность и был бесконечно ошеломлен, но потом во мне проснулся сильный гнев, я в крайнем ожесточении восстал против смысла ее слов, я понял, как они оскорбительны. Теперь уйти! Теперь ведь я не мог уйти. Жар, и озноб, и усталость исчезли... «Я их потребую к ответу, – бушевало во мне, – они должны мне представить объяснения, Феликс, доктор Горский, я настаиваю на этом. Я ведь ей ничего не сделал, бог ты мой, что же я сделал ей?..»

Разумеется, произошло несчастье, огромное несчастье, и его, пожалуй, можно было предотвратить! Но ведь я не виноват в этом несчастье, не я же в нем виноват! Его не следовало оставлять одного, ни одной минуты не должен был он оставаться один; каким образом вообще у него оказался револьвер? А теперь еще, чего доброго, на меня хотят взвалить вину? Я понимаю, что в такое мгновение люди могут быть несправедливы и не взвешивают своих слов. Но именно поэтому я должен остаться, я вправе потребовать объяснений, я должен...

Вдруг меня осенила мысль, совершенно естественная мысль, в свете которой мое волнение показалось мне смешным. Несомненно, это недоразумение. Это может быть, конечно же, только недоразумением. Я неправильно понял слова Дины, смысл их был совсем не тот. Она хотела просто сказать, чтобы я шел домой, потому что больше здесь ничем не могу помочь. Это ясно. Совершенно ясно. Никто и не думал возлагать на меня вину. Надо мною просто подшутили мои раздраженные нервы. Доктор Горский был при этом и слышал ее слова. Я решил подождать его, он должен был мне подтвердить, что все это было простым недоразумением.

«Долго это ведь не может длиться, – говорил я себе, – долго мне ждать не придется. Феликс и доктор Горский должны скоро вернуться, нельзя же бедного Ойгена... Не оставят же они его одного на всю ночь лежащим на полу».

Я тихо подошел к окну, подкрался, как вор, и заглянул в комнату. Он все еще лежал на полу, но его покрыли платком, шотландским пледом. Я видел его как-то в «Макбете», об этом я вспомнил невольно, и тотчас же в ушах у меня раздались слова леди Макбет: «Всех аравийских ароматов мало...»

И тут я опять почувствовал озноб и усталость, холодный пот и жар, но подавил в себе эти ощущения.

«Вздор! – сказал я себе. – Эти страхи, право же, совершенно тут неуместны». Я решительно открыл дверь и вошел, но эта решительность сразу же уступила место опасливой робости, потому что я впервые оказался наедине с мертвецом.

Вот он лежал, закрытый пледом, видна была только его правая рука. В ней уже не было револьвера, кто-то взял его и положил на столик, стоявший посередине комнаты. Я подошел, чтобы рассмотреть оружие, и заметил в этот миг, что я в комнате не один.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.